

Гимназия и гимназисты

С.А. Векшинский

Приведена вторая часть дневников академика С.А.Векшинского, посвященная студенческим годам, проведенным в г.Керчи. С.А.Векшинский – основатель электроламповой промышленности СССР. В 1945 г. написал свои воспоминания, посвященные обучению в керченской гимназии в период 1910-1914 гг.

S.A.Vekshinski.School and students. S.B. Nesterov. The second part of academician S.Vekshinski's diary is presented here. S.Vekshinski was the founder of the electrolamp industry in the USSR. In 1945 he wrote his reminiscences about his study in Kerch school in 1910-1914.

Каждое поколение, вероятно, считает свою эпоху неудачной, думает, что раньше было лучше и надеется, что в будущем потомки будут учиться и жить лучше своих предков. В гимназические годы мы, юноши, конечно были недовольны всеми порядками гимназии. Одни возмущались обязательностью преподавания закона Божьего и хождением в церковь, другие считали идиотизмом долбежку пять раз в неделю латинских спряжений и переводов Тита Ливия, Цезаря и Цицерона. Любители литературы находили, что из нас готовят невежественных людей, т.к. новая и новейшая литература не только не изучалась, но запрещалась. Уроки правоведения, представлявшие собой сплошной фарс, не вызывали нашего негодования, так же как и всякие случайные свободные часы, вызванные болезнью того или иного преподавателя. Какой-либо общей и принципиальной оценки нашего учебного быта у нас не было. Все мы, до самых выпускных экзаменов оставались детьми, более или менее возмужавшими, более или менее испорченными, сравнительно неплохо развитыми, но далекими от какой-либо идейности, целостного миропонимания, установившегося воззрения на смысл и цели жизни.

При всех явных и надуманных недостатках гимназия имела несомненно одну хорошую сторону: нас систематически учили, приучали к ответственности и требовали постоянной работы над собой. Я не знаю, много ли вреда, например, мне принесло изучение и заучивание катехизиса. Что оно злило меня и раздражало – это верно. Но быть может, именно то, что меня все же заставляли хорошо делать противное и неинтересное дело – имело большее воспитательное значение, чем безответственное слушание уроков правоведения. Второе – это дисциплина, распространявшаяся на наше поведение в классе, на улице, дома, в общественных местах. При всем том эта дисциплина не была гнетущей, унижительной. Все знали нормы поведения, всем в одинаковой мере было ясно, что можно и чего нельзя, где проходит граница приличного. Прописная мораль не лезла из всех щелей, не вдалбливалась, не пропагандировалась трафаретными, примитивными, лубочными приемами. Она была, но ее преподавали корректно, тонко, ее не навязывали.

Готовили ли из нас полезных людей? Нет, нам только солидно давали возможность узнать обо всем ровно столько, чтобы самостоятельно выбрать себе будущее поприще и открыть возможность готовить себя к нему. Для тех же, кто этого не мог или не хотел сделать, гимназия давала ровно столько, чтобы пользуясь плодами ученья, покинувший ее стены воспитанник мог прокормить себя и семью на казенных хлебах или заработках второстепенных служащих частных предприятий. Какой-либо подсказки или агитации в пользу той или другой науки, выбора той или иной профессии со стороны преподавателей абсолютно не было.

Состав учеников нашего класса был довольно разношерстный. Тут были и дети из рабочих семей, и крупных торговцев и мелких коммерсантов, врачей и чиновников. Класс, несмотря на эту пестроту состава, был очень дружен, спаян той славной спайкой, которая исключает возможность расчленения этого юного общества на черную и белую кость. Не все мы бывали друг у друга, но все мы встречались тесной гурьбой на Воронцовском или Приморском бульваре, шатались маленькими группами по запретным местам – бильярдным или шашлычным, вместе готовились к экзаменам и письменным работам, дружно подсказывали на уроках. О фискальстве, доносах и т.п. подлостях не было и помину. При всем том класс наш до самого выпуска оставался оранжереей, в которой не чувствовалось никакого дуновения

социальных течений и политических бурь. Даже самые развитые и начитанные из нас, такие как Шенгели или Зарецкий, мне кажется, были далеки, даже накануне выпускных экзаменов, от того, чтобы ясно знать и понимать сущность событий 1905-1908 годов. Если они и знали больше остальных, то знали пассивно, без идей и стремлений к борьбе, переустройству, революционному действию. Если у Шенгели, а за ним следом у Коли Петрова, появлялись порой «филозофические» настроения и стремления «отрицать» и «попирать», то вряд ли это в какой-либо мере являлось отзвуком и перепевом больших мировых социальных симфоний. Скорее это были метания и юношеские искания в областях куда как более отвлеченных.

Класс хорошо знал своих сотоварищей. Мы были разные, но мы гордились тем, что среди нас есть и такой инфантильный балбес как Петька Боровский, чуть ли не с 6 класса состоявший в любовниках у дочки черного попа, и философ, поэт, футурист Ерка Шенгели, и длинноносый Файнгерш, изучивший латынь не хуже Шкорпила, и молодцеватый глупыш Женька Кустовский, прятавший кривизну ног под необъятными клёшами. И даже два брата Пашуры, состоявшие кадилыщиками в причте нашей церкви, чувствовали теплоту дружеских отношений к ним всего класса. Джигит, дикарь Сашка Страшевский, казак и гимнаст, мирно уживался с «жидом» Обершмуклером, устраивая ему периодические погромы, оставался неизменным его приятелем и спутником на прогулках. У большинства из нас, естественно, уже завязывались юношеские романы, приводившие временами к столкновениям юных самцов. Но и этот «амурный» вопрос не перерастал в драмы или трагедии. Очень скоро определялись «пары», все в классе (да, пожалуй, и во всем городе) знали, кто с кем ведет любовную игру. Знали также и про все разрывы, «чайники» и готовящиеся охлаждения. Если это волновало, то не надолго. Под теплым южным небом покинутый или покинутая вновь скоро обретали «радость и счастье любви»; роман завязывался, равновесие восстанавливалось. Все эти события проходили как часть общей жизни класса, отнюдь не скатываясь до пошлого или скабрёзного судачения. Все мы знали, что у такого-то из наших товарищей «серьезный» роман с такой-то, а у такого-то простая игровая шалость с такой-то. И то, и другое допускалось, не третировалось и не оскорблялось. Я бы сказал, что до самого выпуска из гимназии наши отношения с подругами нашей юности оставались в огромном большинстве светлой, чистой ребяческой любовью, флиртом, иногда не лишенным первых проблесков эротизма. Вместе с тем мы были хорошими друзьями наших подруг: нередко мальчики писали сочинения своим симпатиям или, по их просьбам, другим ученицам; решали задачи, иногда материально помогали тем из них, у кого средств не хватало на учебу или на жизнь.

С наступлением весенних дней компании разной численности и состава частенько отправлялись на далекие прогулки. Причины для этих прогулок бывали различнейшие: то Ерка Шенгели затеет поход в крепость, не дойдя до которой все юное общество, устав от ходьбы, усаживалось на первом холмике и поело всю наличную провизию, после чего, прослушав изрядную порцию декламаций Шенгели, отправлялись обратно в город. То Сашка Добров назначит очередной полет свой на самодельном планере, и десятки товарищей и их подруг топают в Буланак, дружно там тянут веревку для подъема – взлета холстяно-деревянного сооружения Сашки и потом, убрав обломки планера после очередной катастрофы, к вечеру приплетутся домой, усталые и радостные.

Кроме этих компаний случайного состава существовали и другие, постоянные. В гимназии содержались два хороших вельбота, команды которых (по 14 человек на каждую посудину) строго подчинялись своим капитанам, регулярно выходили в море на прогулки и тренировки выполняли все хлопотные работы по ремонту и поддержанию в порядке своих судов. Гимназическое начальство поддерживало эти команды и, в отличие от всех прочих, членам команд предписывалось являться на плавание не в гимназической форме, а в морских рубашках-блузах с полосатым тельником. В этом наряде разрешалось ходить по городу, гулять на бульваре. Само собой, эта маленькая вольность щекотала самолюбие некоторых «моряков», вызывала зависть у франтов, не принадлежавших к касте «капитанов».

Прогулки морских команд всегда были строго холостыми. Если и приглашались гимназистки, то только для катания невдалеке от приморского бульвара, на виду у гуляющей публики. Настоящие же прогулки занимали сутки- двое, сопровождалась всеми прелестями робинзоновских приключений плюс изрядные порции провизии и красного вина.

Одна из таких прогулок до мелочей врезалась мне в память. В одну из суббот команда погрузила запас провианта и отбыла на скалы, что торчат изолированно от берега между Брянским заводом и Еникале. Это было одно из очень милых мест, группа глыб твердого известняка, изъеденного и изрытого волнами, торчала примерно в полутора километрах от берега, и кроме нас, никем не посещалась. Прелесть этих скал заключалась в том, что в них было множество пещер, пещерок и тоннелей, частью наполненных чистейшим бархатным песком, частью уходящих в воду или образующих большие сквозные сводчатые протоки под скалами. Верхушка одной из скал, причудливо изъеденная волнами и ветрами, посредине имела просторную и глубокую выемку, дно которой устилал тот же чудесный бархатный песок, а каменные стены этой своеобразной залы поросли травой, кустарниками и низкорослыми деревцами. Вместимость этого приюта была вполне достаточна для полного состава одной команды. Здесь же помещался и грубо сложенный очаг или жертвенник, как мы его называли, на котором неизменно жарились шашлыки и бесконечные яичницы со шкварками. Я не помню, чтобы наше меню заключало бы в себе какое-либо отступление от этих традиционных горячих блюд. Иногда, правда, привозились «с суши» баклажаны, картошка и еще что-то, но из стряпни этих затейливых блюд ни разу ничего не получалось и они уходили на откорм бычков.

Так вот, в одну из поездок на скалы, команда по каким-то причинам была в неполном составе. Не хватало Женьки Кустовского, Доброва и еще кого-то. Провиант был привезен не весь, вина – на двое суток. Погода стояла серая, ветреная. Скоро начал накрапывать дождь. На скалах стало сыро и неуютно. Большинство из нас забило в пещерки, а на ночь вельбот загнали в тоннель под скалу и команда спала, ежась от холода и сырости. Правда, в пещерах было сухо и тепло, но это не то, что спать под открытым небом в «зале» или на банках в шлюпке. Настроение у всех было серенькое, шутки не вызывали ответных, прогулка явно не удалась. Наутро решили вернуться в Керчь. Огромный запас неиспользованного провианта был оставлен здесь до следующего приезда. Сырые яйца, которых оставалось более сотни, аккуратно зарыли в песок одной из пещерок, бутылки с вином частью спущены в воду, частью также зарыты в песок пещер. Вельбот отчалил, сделал традиционные «весла на валец» и пошел в Керчь. К полудню, мокрые и недовольные, мы были уже в городе, и, сделав обычную уборку шлюпки, разбрелись по домам.

Следующий поход на скалы состоялся только через две недели. Не помню уж, какие причины вызвали такую отсрочку. Но на этот раз команда была вся в сборе. Продуктов и дров для жертвенника было взято вдвое больше, погода стояла чудесная, и за воскресеньем шел какой-то праздничный день или, быть может, уже кончались экзамены и мы не были связаны учебным расписанием. Только ехали мы на этот раз более чем на два дня. Настроение у команды было отличное, молодость хлестала через край.

Наши скалы оказались еще приветливей, еще лучше: зелень разрослась, в «зале» цвели стенные цветы и даже какая-то пичуга устроила себе гнездо здесь. Уже через десять минут после прибытия скалы наполнились шумной возней. Часть команды купалась, часть жарила яичницу, пара голых готтентотов удил бычков, я фотографировал с разных мест это становище дикарей. Через час готовы были шашлыки, откупоренакоповский бурдюк и коричневая, голая ватага с шумом, тостами, песнями, смехом заполнила чавканьем и чоканьем весь зал. После полудня все уже были достаточно сыты и пьяны. В зале стало слишком жарко. Солнце нас могло испечь в этой безветренной каменной воронке. Команда помаленьку расплзлась: кто купаться, кто в пещеры – на прохладный песочек. К двум часам скалы были тихи и безлюдны и только храп, вырывающийся из лазов пещер, говорил о том, что в недрах их покоятся наши brave мореходы. Мне пришлось в эти часы быть вахтенным, почему я и не мог разделить сладкой доли моих товарищей. Солнце меня палило нещадно, и эти два часа вахты казались нескончаемыми. Да и спать хотелось здорово и от жары, и от вина, и от того, что поход наш начался в 4 часа утра и, следовательно, выспаться ночью не хватило времени.

Вахта моя подходила к концу, когда тишина и мирный сон скал были нарушены происшествием, совершенно необычным в нашей «морской практике».

По неписаным законам нашей команды, наш морской лексикон не включал крепких морских выражений. Одному капитану предоставлено было право в крайнем случае отпускать порцию ободряющих слов повышенного давления. Команда же, обычно, держалась языка, допустимого и в семейной обстановке. Наш капитан, Ванька Зееберг, не злоупотребляя своими

исключительными литературными правами и уж если отпускал по чьему-нибудь адресу крепкое словцо, то делал это так негромко, что только провинившийся догадывался, да и то больше по капитанской мимике губ и глаз, что морские правила нарушены и ему, виновнику, отпущена порция соленого.

А тут вдруг во время моей вахты из одной пещерной дыры началось целое извержение такой просолёной матерщины, что в первую минуту я даже опешил от неожиданности. Все, что было загнано внутрь каждого из нас дисциплиной и воспитанием, спрятано куда-то между печенью и желчным пузырем, теперь вдруг выхлестнуло наружу и расплескалось в бесконечных переливах и перезвонах здорового, многоэтажного, раскатистого русского морского мата.

И прежде чем я успел осуществить свои права вахтенного и заткнуть фонтан красноречия разбушевавшегося моряка из бурлящего матом кратера, вылезло нечто, что никак нельзя было признать ни за человека, ни за члена нашей команды, ни тем более за Женьку Кустовского. Этот четвероногий пегий комок слипшегося песка, перемешанного с матросской блузой, покрытый желтыми подпалинами, утыканный в разных местах яичной скорлупой, явно имел на одной паре конечностей нечто бывшее белыми брюками, залепленными в разных местах пятачками и заплатами из разноцветной клейкой массы. Я мог заметить только, что яичная скорлупа была одним из основных ингредиентов в составе этого странного существа и распределялась более или менее равномерно как в волосах головы, так и на тех местах, которыми четвероногие садятся, ложатся, чешутся.

Команда была разбужена и приняла живейшее участие в выяснении всех причин и следствий необычного происшествия. Все выяснилось очень скоро. Женя Кустовский забрался спать в ту самую одноместную пещеру, где были захоронены в песке наши яичные запасы, оставшиеся от прошлой неудачной поездки на скалы. Гоголь-моголь, который он устроил из 115 яиц в узкой пещерке, явился вполне удовлетворительным цементом для морского песка, его матросского костюма, волос и яичной скорлупы.

Отмывали и отстирывали мы его и Женьку до самого заката. И еще в полночь, вахтенный, сидевший у жертвенника, слышал, как то в том, то в другом уголке скалы дремавшие моряки вдруг прыскали со смеху и в полголоса в сотый раз рассказывали друг другу отдельные сценки из сегодняшней яичницы.

Перед отплытием в Керчь команда решила ничего никому не рассказывать об этом происшествии. Я много раз встречал керчан, знавших всю нашу команду, но ни разу не слышал и намека на Женькин гоголь-моголь.

Материал любезно предоставлен родственницей С.А.Векшинского – Н.С.Золотениной и подготовлен к публикации президентом РНТВО им.С.А.Векшинского С.Б.Нестеровым.